

27 ИЮЛ 1983

В нынешнем году по решению ЮНЕСКО широко отмечается столетие со дня рождения австрийского писателя Франца Кафки (1883—1924). Творчеству этого очень сложного, противоречивого писателя и его влиянию на значительную часть литературы XX века на Западе посвящено множество книг и статей, принадлежащих перу как западных, так и советских исследователей.

Для понимания личности и произведений Кафки необычайно много дают его дневники и письма. Особенно важны в этом смысле «Дневники». В них зафиксированы литературные замыслы, фрагменты, варианты, сны, зачастую мало чем отличающиеся от новелл, и наброски новелл, подобные снам, размышления о жизни, о литературе и искусстве; сюда занесены копии отправленных или отрывки, непосланных писем, главы будущих романов. Все это вместе с записями сугубо личного характера складывается в цельную картину его «фантастической внутренней жизни» (запись от 6 августа 1914 года), его безграничного одиночества. Беспредельная трагическая борьба с самим собой и окружающей действительностью раскрыта здесь с такой произвольностью, что многое в романах и новеллах Кафки получает объяснение, обнаруживает свою подоплеку, раскрывается как чисто автобиографическое. «У него нет ни малейшего убеждения, приюта. Поэтому он предоставлен на произвол всему тому, от чего мы защищены. Он как нагой среди одетых», — писала чешская журналистка Милена Есенская другу и душеприказчику Кафки, австрийскому писателю Макс Броду.

Кафка начал вести дневник с 1910 года и с тех пор вел его — иногда с продолжительными перерывами — по 1923 год. Приводимые ниже записи составляют часть подборки, которая полностью будет опубликована в одном из ближайших номеров журнала «Октябрь».

1910

Наконец-то, после пяти месяцев жизни, в течение которых я не смог написать ничего такого, чем бы был доволен, и которое никакая власть не в силах мне возместить, хотя все обязаны бы это сделать, я надумал снова поговорить с самим собой. На это я еще способен, если действительно задаюсь такой задачей. Здесь всегда еще можно что-то выбить из меня, из этой копны соломы, которой я стал за эти пять месяцев и судьба которой, кажется, в том, чтобы летом ее подожгли и она сгорела быстрее, чем зритель успеет моргнуть глазом. Пускай бы это случилось со мной! И пусть хоть десять раз это случится, — я ведь не сожалею о времени даже злополучном. Мое состояние — не состояние несчастности, но это и не счастье, не равнодушие, не слабость, не усталость, не интерес к чему-то другому, — тогда что же это такое? То обстоятельство, что я не знаю этого, связано, вероятно, с моей неспособностью писать. А ее я, кажется, ощущаю, не зная причины. Все вещи, возникающие у меня в голове, растут не из корней своих, а откуда-то со стороны. Попробуй-ка тогда удержать их, попробуй-ка держать траву и самому держаться за нее, если она начинает расти лишь со стороны стебля...

19 декабря. Почитал немного дневники Гёте. Время уже излило покой на эту жизнь, дневники озаряют ее огнем. Ясность всех событий делает их таинственными, так же как парковая ограда при созерцании больших лузак успокаивает глаз, — и вместе с тем вселяет в нас превеличенное почтение.

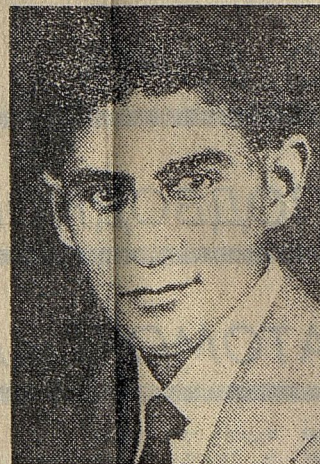
20 декабря. Чем оправдаю я вчерашнее замечание о Гёте? Ничем. Чем оправдаю я то, что сегодня еще ничего не написал? Ничем. Тем более, что мое состояние не наилучшее. У меня в ушах все время звучит призыв: «Приди же, незримый суд!»

1911

20 августа. Читал о Диккенсе. Это так трудно — да и может ли сторонний человек — понять, что какую-нибудь историю переживаешь с самого ее начала, от отдаленнейшего пункта до встречи с назежающим локомотивом из стали, угля и пара, но и в этот момент ты не покидаешь ее, а хочешь и находишь время, чтобы она гнала тебя дальше, то есть она гонит тебя и ты по собственному порыву мчишься впереди нее туда, куда она толкает тебя и куда ты сам влечешь ее.

К 100-летию со дня рождения писателя

Франц КАФКА: РАЗГОВОР С САМИМ СОБОЙ



29 сентября. Дневники Гёте. Человек, не ведущий дневника, неверно воспринимает дневник другого человека. Когда он, например, читает в дневниках Гёте: «11.1.1797. Целый день был занят дома различными распоряжениями», — то ему кажется, что сам он еще никогда за весь день не делал так мало.

Путевые наблюдения Гёте совсем иные, чем нынешние, потому что они велись из почтовой кареты и развивались проще, местность изменялась медленно, и потому за ней легче следить человеку, даже не знакомому с этой местностью. Это было спокойное, воистину пейзажное мышление. Так как окрестность представлялась пассажиру кареты нетронутой, в ее натуральном виде, и проселочные дороги разделяли ее гораздо естественнее, чем железнодорожные линии, с которыми они соотносятся примерно так же, как реки с каналами, то это не требовало от созерцателя никаких усилий, и он мог без особого напряжения систематизировать свои впечатления. Поэтому моментальных наблюдений мало, большей частью в помещениях, где иные люди сразу же полностью распахиваются, например, австрийские офицеры в Гейдельберге, а пассаж о мужчинах в Визенгейме, напротив, ближе к описанию местности — «на них были синие сюртуки и белые жилеты, украшенные вышитыми цветами» (цитирую по памяти).

26 октября. ...Поскольку она меня утешает, я переписываю автобиографическую заметку Шоу, хотя она, собственно говоря, содержит в себе нечто противоположное утешению: подростком он был учеником в конторе одного агента по продаже земельных участков в Дублине. Вскоре он покинул это место, уехал в Лондон и стал писателем. За первые девять лет — с 1876 до 1885 года — он заработал всего сто сорок крон. «Но хотя я и был крепким молодым человеком и семья моя жила в трудных условиях, я не бросился в борьбу с жизнью; я бросил в нее мать и жил на ее средства. Я не был поддержкой отцу, напротив, я держался за его штаны». В конце концов это немного утешило меня. Годы, которые он свободным человеком провел в Лондоне, у меня уже позади, возможное счастье все больше становится невозможным, я веду ужасную, какую-то ненастоящую жизнь и достаточно жалок и труслив, чтобы следовать за Шоу хотя бы настолько, чтобы прочитать родителем это место. Как сверкает перед моими глазами эта возможная жизнь — в стальных красках, в натянутых стальных прутьях и прозрачной темноте между ними!

9 ноября. Я попытаюсь постепенно составить список того, что во мне беспорядочно, затем — вероятно, потом — возможно и т. д. Беспорядочно во мне жажда книг. Нет, не владеть ими или читать их, а жажду, а видеть их, убеждаться перед витриной книготорговца, что они существуют. Если где-нибудь лежат несколько экземпляров одной книги, меня радует каждая из них. Жажда эта подобна не-

верно направленному чувству голода, она словно исходит из желудка. Книги, которыми я сам владею, радуют меня меньше, книги же моих сестер, напротив, меня радуют. Желание владеть ими несравненно слабее, оно почти отсутствует.

15 ноября. Беспорядочно: все, что я зараннее, даже ясно ощущая, придумываю слово за словом или придумываю лишь приблизительно, но в четких словах, на письменном столе, при попытке занести их на бумагу, становится сухим, искаженным, застывшим, мешающим всему остальному, робким, а главное — нецельным, несмотря на то, что ничто не забыто из первоначального замысла. Разумеется, причина этого в значительной степени кроется в том, что вдали от бумаги я хорошо придумываю только в состоянии подъема, которого я больше боюсь, чем жажду, как бы я его ни жаждал, но полнота чувства при этом так велика, что я не могу справиться со всем, черпаю из потока вслепую, случайно, горстями, и все добытое таким способом оказывается при спокойном записывании ничтожным по сравнению с той полнотой, в которой оно жило, неспособным эту полноту выразить и потому дурным и вредным, ибо напрасно привлекло к себе внимание.

25 декабря. Гёте мощью своих произведений задержал, вероятно, развитие немецкого языка. Если проза за это время иной раз и отдалялась от него, то сейчас она в конце концов снова вернулась к нему с тем большей страстностью, и даже старые обороты, которые, правда, можно найти у Гёте, но с ним не связаны, она теперь освоила, чтобы насладиться усовершенствованным видом своей безграничной зависимости.

1913

21 июля. Особый метод мышления. Оно пронизано чувствами. Все, даже самое неопределенное, воспринимается как мысль (Достоевский).

16 декабря. «Громовой вопль восторга серафимов»*.

1914

12 января. ...Обручение Толстого, такое впечатление нежного, бурного, сдерживающего себя, полного предчувствия молодого человека. Красиво одет, в темном и темно-синем.

20 декабря. Замечание Макса о Достоевском, о том, что в его произведениях слишком много душевнобольных. Совершенно неправильно. Это не душевнобольные. Обозначение болезни есть не что иное, как средство характеристики, причем средство очень мягкое и очень действенное. Например, когда постоянно и очень настойчиво твердят какому-нибудь

человеку, что он ограничен и туп, то, если в нем есть «достоевское» зерно, это прямо-таки раззадорит его развернуться во всю ширь своих возможностей. С этой точки зрения, характеризующие его слова имеют примерно то же значение, что и бранные слова, которыми обмениваются друзья. Когда они говорят «ты дурак», то это не означает, что тот, кому это адресовано, действительно дурак, и они унизили себя дружбой с ним; чаще всего, — если это не просто шутка, но даже и в таком случае, — это заключает в себе бесконечное переплетение разных умов. Так, например, отец братьев Карамазовых отнюдь не дурак, он очень умный, почти равный по уму Ивану, но злой человек, и, во всяком случае, он умнее, к примеру, своего двоюродного брата или племянника, помещика, который считает себя выше его.

23 декабря. Прочитал несколько страниц из «Лондонских туманов» Герцена. Не понимал даже, о чем речь, и тем не менее предо мной полностью возник образ человека — решительного, истязавшего самого себя, овладевающего собой и снова падающего духом.

1915

17 января. «Черные знамена» Стриндберга. Как плохо я читаю. И как зло и болезненно я наблюдаю за собой. Проникнуть в мир я, видимо, не могу, но могу спокойно лежать, воспринимать, воспринятое растворить в себе и затем спокойно показаться на людях.

14 февраля. Безграничная притягательная сила России. Лучше, чем тройка Гоголя, ее выражает картина великой необозримой реки с желтоватой водой, всюду устремляющей свои волны, волны не очень высокие. Пустынная, растрепанная степь вдоль берегов, поникшие травы. Нет, ничего эта картина не выражает, скорее — все гасит.

25 декабря. «Иван Ильич»*.

1922

20 января. Немного спокойнее. Как необходимо это было. Но едва стало чуть спокойнее, как уже слишком спокойно. Слово я по-настоящему чувствую самого себя только тогда, когда невыносимо несчастен. Это, пожалуй, верно.

...Схватили за воротник, протаскивали по улицам, бросили в дверь. Схематически это так и есть, в действительности существуют противодействующие силы, на самую малость — на достаточную лишь для поддержания жизни и муки малость — менее разнужданные, чем те, каким они противостоят. Я жертва тех и других.

...Уж это «слишком спокойно». Слово для меня закрыто — прямо-таки физически, физически как следствие многолетних страданий (надежды! надежды!) — возможности спокойной творческой жизни, то есть творческой жизни вообще, ибо состояние страдания для меня не что иное, как полное, закрытое в самом себе, закрытое по отношению ко всему на свете страдание, и ничто другое.

31 января. Одного лишь негативного, каким бы сильным оно ни было, не может быть достаточно, как я думал в свои самые несчастливые времена. Ибо как только я взбирался на самую маленькую ступень, оказывался в какой-нибудь, пусть даже самой сомнительной, безопасности, я ложился и ждал, пока негативное не то что взберется за мной — а сорвет меня с малой ступени. Это своего рода оборонительный инстинкт, который не терпит во мне ни малейшего чувства длительной успокоенности...

Вступление и перевод с немецкого Е. КАЦЕВОЙ

* Повесть Л. Толстого «Смерть Ивана Ильича», которая, по свидетельству М. Брода, наряду с народными рассказами Л. Толстого была в числе любимых произведений Кафки.

* Слова Ивана Карамазова из романа «Братья Карамазовы» Ф. Достоевского.